



Федор АБРАМОВ с Михаилом АБРАМОВЫМ — прототипом Михаила Прыслина
Фото Р. КУЧЕРОВА

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

Тропа Федора Абрамова

Лит. газета - 1990. - 28 февр (№9)

хающие балерины, скачущие танцовщицы. Ничего похожего не было в жизни деревни, которую знал Абрамов. Деревня задыхалась от налогов, от пустого трудода, от займов, от недостатка мужиков.

Поступок Абрамова был шагом отваги и вместе с тем риска, потому что верные опричники Сталина, его подручные и идолопоклонники не просто были живы, но и правили страной. И у них, как у боксеров, был еще хорошо поставлен удар.

Этот удар Абрамов получил, и он его перенес стойчески, хотя с той поры больше не писал критику: у сердца его уже лежал роман.

«Братья и сестры», напечатанные во времена «оттепели», принесли автору известность и деньги. Обиды, нанесенные Абрамовым «самого передовому методу», были забыты, их ему простили. Простили, конечно, в надежде, что молодой писатель «исправится», пойдет по правильному пути.

Но начальство предполагает, а Бог располагает. Чернышевский как-то сказал о Гоголе: с ним нельзя было шутить идеями. Не сравнивая Абрамова с Гоголем, хочу все же обнаружить сходство — с Федором Абрамовым тоже нельзя было шутить идеями. Если он избирал себе какую-то новую веру, то старался в этой вере дойти до конца. То есть и речи не могло быть, чтоб Абрамов вернулся, одумался, предал свою веру. С такими вещами, как идея и вера, он играть не привык.

Свидетельством этого стала его повесть «Вокруг да около», напечатанная в 1963 году в журнале «Нева» и наделавшая в свое время не меньше шума, чем его статья в «Новом мире». Историк не даст соврать, что время уже было темное. Хрущевскую оттепель стало затгивать ледком. Система, не изменившись ни на йоту и лишь поменяв фигуры на шахматной доске, брала свое. Повесть Ф. Абрамова была воспринята как вызов колхозному строю.

По аналогии с одним днем Ивана Денисовича (как мы помним, зака из повести А. Солженицына), Федор Абрамов изобразил один день председателя колхоза — человека, не сидящего за колючей проволокой, но имевшего не больше прав, чем зак. И когда этот председатель, рискуя собой, решил выдать колхозникам 30 процентов от скошенного ими сена (ибо сено гнило от дождей), ему, как на Страшном суде, пришлось держать ответ перед секретарем райкома.

Такую дерзость не могли простить ни ему, ни его создателю. Редактор журнала, напечатавший эту вещь, был отстранен от работы. Очерк заклеймили. Но, не веря верноподданной критике, решили организовать «мнение народа». Срочно редакциям было дано указание организовать «голоса снизу».

И они стали поступать. Наш добрый народ всегда добр в отношении своих гонителей и почему-то особенно суров по отношению к своим защитникам.

Так случилось и с Абрамовым. Гонцы из обкома прибыли сначала в Карпогоры, а оттуда послали гонцов в Верколу. Требовался голос земляков Абрамова. Тем более, они должны были узнать в героях повести себя. А о многих из этих героев писатель отзывался неслучайно.

Земляки, недолго думая, подписали письмо. Повесть они не читали, но начальству поверили. Письмо за двадцатью с лишним подписями было опубликовано в областной партийной газете «Правда Севера». И называлось оно «Куда зовешь нас, земляк?».

Получалось по этому письму, что Ф. Абрамов зовет деревню назад, к кулаку.

Автор же «Братьев и сестер», «Пелагеи», «Мамоники», «Деревянных коней», «Бабилея», «Сказания о великом коммунаре», «Вокруг да около» и «Травы-муравы» как истый госслужащий (а он им оставался до самой смерти) от всего сегоцца хотел помочь государству, подсобить ему в трудном деле сближения с народом, в понимании нужд тех, для кого оно существует. Он вовсе не покушался на строй, на систему, не желал ни бунта, ни революции, а хотел добра.

Такой помощью были его очерки о Нечерноземье, о северных реках и лесах, о пашне живой и мертвой. Такой помощью были его выступления по радио, по телевидению, в газетах, на встречах с читателями, которые он любил, от которых никогда не отказывался. Его кабинет на Васильевском острове был темен, сурово обставлен и напоминал келью отшельника. Но сам Абрамов не был монахом-летописцем. Это была фигура вечере, митинга, публичной схватки, публичной исповеди и проповеди. В этом смысле он продолжал традицию великой русской литературы, которая всегда вырывалась из кабинетов на стогны, на площадь, на народное торжище.

При этом он никогда не становился на колени перед народом, не падал ниц перед ним. «Кадение народу», — записывал он в своем дневнике, — непрерывное славословие в его адрес — важнейшее зло. Оно усыпляет народ, разлагает его... Культ, какую бы форму он ни принял, — всегда опасен для народа».

То, что Абрамов имел право сказать эти слова, я убедился в дни прощания с ним. Никогда я не видел такого стечения людей, как на его похоронах. Темной стеной, похожей на стену тайги, стоял народ в Карпогорском аэропорту, ожидая самолета с телом Абрамова. И потом эта народная река двинулась за гробом Абрамова и прошла все Карпогоры от околицы до околицы. И потом, в Верколе, она так же текла от клуба, из которого вынесли гроб, к могиле.

Старики, старухи, мужики, дети, малыши в колпачках, не ведающие, что происходит на свете, — все тянулось за этой процессией. И над могилой стоял плач, который не организуешь ни по какому заказу.

В ОБИХОДЕ абрамовской прозы часто встречается слово «последний». Оно мелькает и в названиях рассказов: «Последняя охота», «Последняя страда», «Последний старик деревни». Сам Ф. Абрамов тоже был одним из последних писателей деревни. Он это сознавал и нередко говорил, что Россия прощается с деревней, как с матерью.

Он тоже прощался с нею, но делая это, хотел все же ее спасти. Вот почему воскрешение — одна из заветных тем Абрамова.

Пустоту, зияющую провалы, которые выгрызла жизнь в народе, Абрамов старался восполнить созданным его фантазией. Он как бы заново сажал деревья в погибшей роще, вытягивал к небу корабельные сосны, засеивал луга травой, наполнял реки рыбой, а землю заставлял рожать, как она когда-то рожала. И в поэтическом, переносном смысле это удавалось ему. Книги Ф. Абрамова полны голосами, смехом, плачем, северной русской залихватистой речью, они овеяны запахом сосновых боров, в них в рост человека колышутся травы. Проза Федора Абрамова — это спасенная деревня, но спасенная в воображении, в печали благодарной памяти. Это крестьянская Атлантида, теперь уже погруженная на дно океана.

Последний, последняя, последние... Последняя чистая вода из колодца, последняя брусника на бугорках вдоль дорог, последний зарод на лугу, последняя рыба в реке, последний деревянный конь под козырьком крестьянского дома. Когда бродишь по лесам вблизи Верколы, когда пьешь настоящий легкий воздух, а навстречу тебе, маскируясь на фоне белого мшанника, прямо на дороге вырастает нерушимокрепкий (и совершенно чистый внутри!) гриб-боровик, то кажется, что еще не все потеряно, не все погибло, но жизнь до конца не разграблена, не убита. Конечно, это поэтическая иллюзия. Это минута обольщения, вну-

шленного тебе прекрасной природой, но расставаться с этим обольщением не хочется. Так не хотел расставаться с образом старой деревни Федор Абрамов. Она была уже не старая, а новая, и он видел это — видел и как трамбует своим трактором тайгу Геха-Маз, и как «машина», «немец» Виктор Нетесов (роман «Дом») по часам, от «сих и до сих», собирается отбыть на совхозной земле. Спасут ли они деревню, преобразуют ли ее? Ведь Геха-Маз со своим цветущим участком, на котором растет все, что не росло никогда под северным небом, — это прообраз будущего мужика-арендатора. Он силен, в нем мощи, хотя отбавляя, хотя это сила физическая, неразумная, но к ней приложен интерес: дай Геха-Мазу заработать, он, может быть, и эту запущенную Мамонику поставит на ноги.

Но и над Гехой-Мазом, и над Виктором Нетесовым есть еще секретарь, есть райком, обком, есть система, которую даже они — один с недюжинной силой, другой — с лукавым умом, — победить неспособны. Тем более неспособен на это Михаил Прыслин, который, хоть и отец семейства, не молодой мужик, а дитя. Но в Михаиле есть свет (как есть он и в Лизе Прыслиной) — в Гехе-Мазе и Викторе Нетесове его нет. Как соединить свет с расчетом? Что такое новая Россия — «новая Америка», как писал Блок, или все же Россия?

Вот один из ответов Абрамова: «Первое решение — деревня кончается, деревня исчезает с лица земли и уходит в небытие, и чем это скорее произойдет, тем лучше. А что взамен? Взамен агрогорода, агрокомплексы. Короче говоря, промышленное сельскохозяйственное производство, полная, полнейшая механизация, без всяких сантиментов... А второй путь... заключается в том, чтобы деревню сохранить. Конечно, на другой основе, с введением всех, так сказать, благ цивилизации... Но деревню сохранить. Почему это важно? Дело не только в материальной стороне дела. Деревня русская — это ландшафты, наша Родина, мать и прародина всего. Дело в том, что исчезновение связей, утрата связей человека с животным, с землей, с природой, она может обернуться очень серьезными последствиями... Они могут обернуться очень серьезной стороной для человеческой природы. Потому что земля, животное, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность, строятся человеческие ценности. Исчезнут эти отношения любви, доброты к животным и к земле — повторю, неизбежно, чем это кончится. Не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не поведет ли к каким-то очень серьезным и непредвиденным изменениям национального характера?»

В конце жизни Абрамов стал переоценивать «теорию малых дел», которая когда-то была не в чести у русской демократии. Над нею посмеивались даже А. П. Чехов. Хотя сам, кстати, только и делал, что занимался этими «малыми делами». Ими занимался и Толстой, создавая свои школы для крестьянских детей, оказывая помощь бедным, выезжая на голод. О них мечтал Гоголь, говоря в «Выбраних местах» из переписки с

друзьями», что каждый человек на своем месте должен делать свое дело честно.

В конце жизни Ф. Абрамов стал собирать материалы к роману «Чистая книга», где он хотел изобразить предреволюционное время, русского промышленника и купца, русского интеллигента, идущего в народ и предпочтительнее революциям просвещению. Все эти «малые дела» — просвещение, торговлю, развитие промышленности он ставил рядом, считая, что это был тот путь, который напрасно отвергли противники «малых дел». Им хотелось сразу большего, хотелось всемирных преобразований и великих дел — но что из этого получилось? В конце семидесятых годов Ф. Абрамов уже мог без натяжки поставить этот вопрос.

Он, во всяком случае, приближался к нему, близился час его полного освобождения, но тут и ударил гром судьбы: 14 мая 1983 года Федор Абрамов скончался.

В СЕНТЯБРЕ 1978 года Ф. Абрамов записал в дневнике клятву о правде. Он клялся отныне писать и говорить одну только правду, и ничего, кроме правды. Факт этот может показаться странным. Разве не является правда непременимым условием писательства, разве не с правды начинается писатель? А ведь запись в дневнике сделана за пять лет до смерти.

Значит, чувствовал Абрамов неполную правду им сказанного. Значит, и эта мука честного человека наших дней ему была дана. Гоголь как-то клялся перед своим гением, что он окажется достойным этого гения. Клятву на Воробьевых горах давали Герцен и Огарев, но то была клятва политическая. Ни Толстой, ни Достоевский и помыслить не могли, что нужно клясться себе писать правду.

Но Федор Абрамов жил в другое время. Свободу из него выбивали в школе, в комсомоле, в СМЕРШЕ, в партии, на службе. Вновь обрести свободу в этих условиях — освободиться хотя бы внутренне — для человека его поколения было равновеликому подвигу. Понятие «подвиг» обычно связывается с каким-то минутным поступком, приступом храбрости, граничащей с отчаянием, но есть подвиг жизни, подвиг каждодневного противоборства с собой, невидимый глазу, но не менее высокий, чем военный подвиг. Я думаю, что такой подвиг писатель Абрамов совершил.

Когда ему в декабре 1979 года позволили с телевидения и попросили положительно отозваться на вторжение наших войск в Афганистан, он отказался. Он сказал: я радости по поводу этого события не разделяю.

Всякое насилие, всякая попытка силой переделать жизнь вызывала в Абрамове отвращение. Писатель не может поощрять насилие, приветствовать насилие — иначе он не писатель.

В прекрасной сказке Абрамова «Жила-была семушка» есть два образа: образ труженицы рыбы, стремящейся возвратиться в родную реку, чтоб оставить после себя потомство, и образ браконьера, который убивает эту рыбу. Его не интересуют ни сема, ни ее мальки. Ему нужна игра, а тело самой рыбы он выбрасывает за борт.

Браконьерству, убийству, насилию Абрамов в этой сказке указывает на их законное место — место вечного позора и проклятия. Он рассматривает браконьерство гораздо шире, он понимает, что идея насилия породила людей насилия, а не наоборот.

Федор Абрамов чувствовал, что душа народа в результате пережитого склоняется к ожесточению. Он видел, что семена зла, посеянные в XX веке, дали отталкивающие всходы. Это пугало его. Это заставляло его — наперекор голосам, вызывающим к мести, говорить о мире, о том, что народ един — он не делится на крестьян и интеллигентов. И то, что он пережил в эпоху насилия, он пережил как один народ.

Не бросать соль на раны, а лечить раны — вот что он хотел. И именно поэтому его так не хвалят сейчас.

НА МОГИЛЕ Федора Абрамова на его родине в Верколе возвышается желтая сосновая пирамидка. Ее венчает вырезанная из жести звезда. Звезда парит в небе, но под ней, посредине пирамидки, видны отходящие в стороны два коротких отростка. Они похожи на крылья только что родившейся птицы. Глядя на эту пирамидку, думаешь, что человек, ставивший ее, хотел соединить два символа: звезду и крест. Но если звезду он гордо вознес вверх, то образ креста неясен, смутен, прорезывается робко, намеком.

Но именно этот намек уносишь в сердце, покидая место вечного упокоения Абрамова.

Не хочу посмертно переписывать его биографию: но «евангелие от Абрамова», как он называл свое верование, расходящее с моральным кодексом строителя коммунизма. Этот свод лицемерных заповедей, претендовавший одно время на новейшую Нагорную проповедь и висевший на фанерных щитах по всей России, он не признавал.

Всю жизнь Абрамов потратил на то, чтобы оторваться от официальной, государственной литературы, заказчиком которой является неусыпная власть. Всю жизнь инстинкт добра и вера в добро боролись в нем с обязанностью считаться с требованиями «идеологии», ставшими проклятием для печатного слова в XX веке.

Под игом «идеологии» он жил, под его игом тирлил, и те свободные страницы, которые читатель найдет в его книгах, созданы вопреки ее давлению, наперекор ей.

Абрамов похоронен рядом с домом, где жил, приезжая на лето в Верколу. Этот домик (иначе не назовешь: две комнатки и веранда) он воздвиг недалеко от своего родового гнезда, от которого сохранились только остатки «зимней избы». Дом, сарайчик и банька, обнесенные невысоким штакетником, стоят на угоре, на высоком берегу Верколы, откуда идет спуск к лугам, к Пинеге.

С угора открывается вид, одно совершеннее которого не может не породить поэта. Серебристо блестит вблизи Пинеге, делающая изгиб у Верколы, за ней встает стеной лес, лес этот постепенно наливается синью, темнеет и уходит в бесконечность, за горизонт.

Всякий раз, садясь за письменный стол, видел Абрамов и эту даль, и эти развалины, угадывая среди них крышу монастырской пекарни. На этой пекарне полжизни проработала героиня его повести Пелагея. Каждый вечер переправлялась она через Пинегу и долго шла по лугу, неся в одной руке сумку с хлебом, а в другой ведро для поросенка. Утром — на пекарню, вечером — с пекарни. Так и протоптала за многие годы тропку от работы до дома, которую потом, когда Пелагея не стало, прозвали «паладьной межой».

На этой работе она и надорвалась, эта работа ее и доконала. И когда стали обмывать Пелагею, то увидели, что ее правое плечо, принимавшее на себя тяжесть пекарской лопаты, превратилось в сплошную мозоль.

Судьба самого Абрамова напоминает судьбу героини его повести. Он так же надорвал за писанием свое сердце. И он так же протоптал в поле русской литературы свою тропу.

ПИСАТЕЛЬСКАЯ судьба Ф. Абрамова началась довольно благополучно, потом вдруг дала резкое отклонение в сторону: вполне верующий социалистический реалист Абрамов внезапно превратился в еретика. Он не восстал против соцреализма, нет, он просто опубликовал честную статью о деревне, точнее, о литературе, пишущей о деревне, и этого оказалось достаточно, чтоб отлучить его не только от соцреализма, но и чуть ли не от Советской власти.

Я имею в виду статью Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Появилась она в «Новом мире», редактируемом А. Твардовским, и появилась в тот момент, когда общество, еще не очнувшееся после смерти Сталина, как голодный, набрасывающийся на хлеб, набрасывалось на всякое слово правды.

В четвертом номере «Нового мира» за 1954 год Федор Абрамов, цитируя Салтыкова-Щедрина, заявил, что вся сталинская литература о деревне — это «балет».

Где балет, там танцуют, пляшут, там румяна на лицах, пудра, трико. Там все — сказка, парфюмерия, пор-